

*Имена, события, даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны.*

*Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным.*

*Автор*

## ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЮ

4 февраля 1982 года. Нью-Йорк

*Дорогой Игорь Маркович!*

*Рискую обратиться к Вам с деликатным предложением. Суть его такова.*

*Вот уже три года я собираюсь издать мою лагерную книжку. И все три года — как можно быстрее.*

*Более того, именно «Зону» мне следовало напечатать ранее всего остального. Ведь с этого началось мое злополучное писательство.*

*Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали двое. И я не хотел бы этого скрывать.*

*Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы:*

*Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта...*

*Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование?*

*Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я — уголов-*

ные. Солженицын был заключенным. Я — надзирателем. По Солженицыну, лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами...

Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын — великий писатель и огромная личность. И хватит об этом.

Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является.

Это — своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов.

Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная банальная идея — что мир абсурден...

Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм.

Тогда я попытался навязать им «Зону» в качестве сборника рассказов. Издатели сказали, что это нерентабельно. Что публика жаждет романов и эпосей.

Дело осложнилось тем, что «Зона» приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микроленку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным французам. Им удалось провезти мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе.

*В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое.*

*Местами пленка испорчена. (Уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы.) Некоторые фрагменты утрачены полностью.*

*Восстановление рукописи с пленки на бумагу — дело кропотливое. Даже в Америке с ее технической мощью это нелегко. И кстати, недешево.*

*На сегодняшний день восстановлено процентов тридцать.*

*С этим письмом я высылаю некоторую часть готового текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней. Остальное получите в ближайшие недели. Завтра же возьму напрокат фотоувеличитель.*

*Может быть, нам удастся соорудить из всего этого законченное целое. Кое-что я попытаюсь восполнить своими безответственными рассуждениями.*

*Главное — будьте снисходительны. И, как говорил зека Хамраев, отправляясь на мокрое дело, — с Богом!..*

Старый Калью Пахапиль ненавидел оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему да маленькие толстые ребятишки.

— В здешних краях должны жить одни эстонцы, — говорил Пахапиль, — и больше никто. Чужим здесь нечего делать...

Мужики слушали его, одобрительно кивая головами.

Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не понравилось. Он долго молчал, потом собрался и ушел в лес.

Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пахапиль охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче — жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапиль вернулся. Он появился в Раквере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком.

«Зачем эстонцу медаль?» — долго раздумывал Пахапиль.

И все-таки бережно укрепил ее на лацкане шевитового пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз — в магазине Лансмана.

Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пахапиль снова исчез.

— Здесь должны жить эстонцы, — сказал он, уходя, — а ванькам, фрицам и различным гренланам тут не место!..

Пахапиль снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым. И снова охотился, думал, молчал. И все шло хорошо.

Но русские предприняли облаву. Лес огласился криком. Он стал тесным, и Пахапиля арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо.

Особенно старался капитан, подаривший ему медаль.

А затем Пахапиля сослали на юг, где живут казахи. Там он вскоре и умер. Наверное, от голода и чужой земли...

Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллине, на улице Луйзе, и получил диплом радиста.

По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам:

— Настоящий эстонец должен жить в Канаде! В Канаде, и больше нигде...

Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции Иоссер. Все делалось по команде: сон, обед, разговоры. Говорили про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему. Только по-эстонски. Даже с караульными псами.

Кроме того, в одиночестве — пил, если мешали — дрался. А также допускал — «инциденты женского порядка». (По выражению замполита Хуриева.)

— До чего вы эгоцентричный, Пахапиль! — осторожно корил его замполит.

Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил:

«Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток. После чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю. Рядовой Пахапиль».



После некоторого раздумья он всегда добавлял:

«Прошу не отказать».

Затем приходили деньги от тетушки Рээт. Пахапиль брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там в зеленом полумраке белели кресты. Дальше, на краю водоема, была запущенная могила и рядом — фанерный обелиск. Пахапиль грузно садился на холмик, выпивал и курил.

— Эстонцы должны жить в Канаде, — тихо бормотал он под мерное гудение насекомых.

Они его почему-то не кусали...

Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер. Судя по очкам — идеологический работник. Было объявлено собрание.

— Заходи в ленкомнату, — прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусьев.

— Политику не хаваем! — ворчали солдаты. Однако зашли и расселись.

— Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны, — начал подполковник Мар.

— Стихи, — разочарованно протянул латыш Балодис...

За окном каптенармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воп-

лей ныл затылок. Она падала на брюхо. Копыта ее скользили по испачканному навозом трапу. Мелкие глаза терялись в складках жира.

Через двор прошел старшина Евченко. Он пнул свинью ногой. Затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшийся на траве...

...— В частях Советской Армии развивается благородная традиция, — говорил подполковник Мар.

И дальше:

— Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов. Кропотливо воссоздают историю ратного подвига. Устанавливают контакты с родными и близкими героев. Всемерно развивать и укреплять подобную традицию — долг каждого. Пускай злопыхатели в мире чистогана трубят насчет конфликта отцов и детей. Пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними... Наша молодежь свято чтит захоронения отцов. Утверждая таким образом неразрывную связь поколений...

Свинью волокли по шершавой доске. Борта машины гулко вздрагивали. Они были выкрашены светло-зеленой краской. Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины.

Рядом вертелся на турнике молдаванин Дастьян, комиссованный по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая...



— Ваша рота дислоцирована напротив кладбища, — тянул подполковник, — и это глубоко символично. Нами установлено, что среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны. В том числе и орденосцев. Таким образом, создаются все условия для шефства над павшими героями...

Свинью затащили в кузов. Она лежала неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню, где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом вздернет ее за сухожилие к потолку. Потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро снимет кожу, поросшую грязной шерстью. И тогда военнослужащим станет плохо от запаха крови...

— Кто здесь Пахапиль?

Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было минуту назад. Как ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давясь от смеха:

— В нашем подразделении уже есть такой солдат. Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор Пахапиль!

— Кто здесь Пахапиль? — недоверчиво отозвался Мар. — Вы, что ли, Пахапиль?

— Так, — ответил Густав, краснея.

— Именем командира роты объявляю вам благодарность. Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное собрание

отличников боевой подготовки. Поедете со мной. Расскажите о своих достижениях. В дороге набросаем план.

— Я вообще-то эстонец, — начал было Пахапиль.

— Это даже хорошо, — оборвал подполковник, — с точки зрения братского интернационализма...

В штабе было людно. Под графиками, художественно оформленными стендами, материалами наглядной агитации, толпились военнослужащие. Сапоги и мокрые волосы блестели. Пахло табаком и дегтем.

Они взошли по лестнице. Мар обнимал Пахапиля. На площадке их окружили.

— Знакомьтесь, — гражданским тоном сказал подполковник, — это наши маяки. Сержант Тхапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичиашвили, младший сержант Шахмаметьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемоклидзе и Овсепян...

«Перкеле, — задумался Густав, — одни жида...»

Но тут позвонили. Все потянулись к урнам. Кинули окурки и зашли в просторный зал...

И вот Пахапиль на трибуне. Внизу белеют лица, слева — президиум, графин, кумачовая штора. Сбоку — контрабас, из зала он не виден.

Пахапиль взглянул на людей, тронул металлическую бляху. Затем шагнул вперед.

— Я вообще-то эстонец, — начал он.

В зале было тихо. Под окнами, звякая, шел трамвай...

Вечером Густав Пахапиль трясся на заднем сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление. И то, как наливал он воду из графина. Как дребезжал стакан и улыбался генерал в президиуме. И то, как ему прикололи значок. (Три непонятных слова, фигура и глобус.) А затем говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахапиля... Что-то насчет — подхватить, развивать и стараться... И еще относительно патриотического воспитания... Что-то вроде преемственности и неразрывной связи... С целью шефства над могилами павших героев... Хотя Пахапиль эстонец вследствие братской дружбы между народами...

Перед ним возвышалась спина шофера. Мимо летели деревья с бедными кронами, выгоревшие холмы, убогая таежная зелень.

Когда машину тряхнуло на переезде, Густав сказал шоферу:

— Здесь я сойду.

Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся.

Густав Пахапиль зашагал вдоль тусклых рельсов. Перебрался через железнодорожную насыпь. Лежневка привела его в кильдим.

Здесь его карманы тяжело наполнились.

Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки кладбищенского рва.

Было сыро и тихо. Щебетали листья на ветру.

Густав расстегнул мундир. Сел на холмик. Положил ветчину на колени. Бутылку поставил в траву.

После чего закурил, облокотившись на красный фанерный монумент.

*17 февраля 1982 года. Нью-Йорк*

*Если не ошибаюсь, мы познакомились в шестьдесят четвертом году. То есть вскоре после моей демобилизации из лагерной охраны. А значит, я был уже сложившимся человеком, наделенным всякого рода тяжелыми комплексами.*

*Не зная меня до армии, вы едва ли представляете себе, как я изменился.*

*Я ведь рос полноценным молодым человеком. У меня был комплект любящих родителей. Правда, они вскоре разошлись. Но развод мало повредил их отношениям со мной. Более того, развод мало повредил их отношениям друг с другом. В том смысле, что отношения и до развода были неважными.*

*Сиротского комплекса у меня не возникло. Скорее — наоборот. Ведь отцы моих сверстников погибли на фронте.*

*Оставшись с матерью, я перестал выделяться. Живой отец мог произвести впечатление буржуазного излишества. Я же убивал двух зайцев.*

*(Даже не знаю, можно ли считать такое выражение уместным.) То есть использовал все преимущества любящего сына. Избегая при этом репутации благополучного мальчика.*

*Мой отец был вроде тайного сокровища. Алименты он платил не совсем регулярно. Это естественно. Ведь только явные сбережения дают хороший процент.*

*У меня были нормальные рядовые способности. Заурядная внешность с чуточку фальшивым неаполитанским оттенком. Заурядные перспективы. Все предвещало обычную советскую биографию.*

*Я принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Был наделен прекрасным здоровьем. С детства не имел болезненных пристрастий.*

*Я не коллекционировал марок. Не оперировал дождевых червей. Не строил авиамоделей. Более того, я даже не очень любил читать. Мне нравилось кино и безделье.*

*Три года в университете слабо повлияли на мою личность. Это было продолжение средней школы. Разве что на более высоком уровне. Плюс барышни, спорт и какой-то жалкий минимум фрондерства.*

*Я не знал, что именно тогда достиг вершины благополучия. Дальше все пошло хуже. Несчастливая любовь, долги, женитьба... И как завершение всего этого — лагерная охрана.*

*Любовные истории нередко оканчиваются тюрьмой. Просто я ошибся дверью. Попал не в барак, а в казарму.*

*То, что я увидел, совершенно меня потрясло.*



*Есть такой классический сюжет. Нищий мальчиш заглядывает в щелку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне.*

*В такую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а правду.*

*Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как высоко он способен парить.*

*Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. Насилие, обыденное, как сырость.*

*Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.*

*Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рапилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая.*

*В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим.*

*Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей.*

*Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости — оставалось неизменным.*



*В этой жизни было что угодно. Труд, достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпены и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и диссиденты.*

*Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт.*

*Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились — еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное — нереальным.*

*Открытие из дома вызывало потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф.*

*На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зек уподоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнялись к россыпям алмазов.*

*Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами и неправдами добиваться своего.*

*Такие же усилия на воле открывают дорогу к си-некурам партийного, хозяйственного, бюрократи-*

ческого руководства. Подобными способами достигаются вершины государственного могущества.

Став хлеборезом, зек психически надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами...

Я вспоминаю такой эпизод. Заключенные рыли траншею под Иоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин.

Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли. Мелко раздробил его, затем склонился над горстью праха.

Его окружили притихшие зеки.

Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки величинной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка — девочка в голубом платьице. Уцелело только плечико и голубой рукав.

На глазах у зека появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо выговорил:

— Сеанс!..

Лагерное «сеанс» означает всякое переживание эротического характера. Даже шире — всякого рода положительное чувственное ощущение. Женщина в зоне — сеанс. Порнографическая фотография — сеанс. Но и кусочек рыбы в баланде — это тоже сеанс.

— Сеанс! — повторил Енин.

И окружавшие его зеки дружно подтвердили:

— Сеанс!..

*Мир, в который я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил — не чаще.*

*Будет время, расскажу об этом подробнее...*

*Как вам мои первые страницы? Высылаю следующий отрывок.*

*Р. С. В нашей русской колонии попадают чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление:*

**ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЙ!**

*Чуть левее, на телефонной будке:*

**ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО И ОБРАТНО.**

**СПРОСИТЬ АРИКА...**

Когда-то Мищук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб. При том что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель.

Вот только зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мищук выменивал ее у ненцев и отдавал дружку-халдею по шесть рублей за килограмм.

Мищuku долго везло, потому что он не был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт:

— Тебя ждут «вилы»... Тебя ждут «вилы»...

— Вас понял, вас понял, — ответил Мищук.

Затем он без сожаления выбросил над Енисеем девять мешков розовой кумжи.

Но вот когда Мищук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду:

— Малыш испекся, наматывается трояк...

Мищука направили в ИТК-5. Он знал, что, если постараться, можно споловинить. Мищук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение». А главное, записался в СВП (секция внутреннего порядка). И ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве.

— СВП, — шипели зеки, — сука выпрашивает половинку!

Мищук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандолине. И дали ему в лагере кликуху — Пупс.

— Ну и прозвище у вас, — говорил ему зека Лейбович, — назвались бы Королем. Или же — Бонапартом.

Тут вмешивался начитанный «кукольник» Адам:

— По-вашему, Бонапарт — это что? По-вашему, Бонапарт — это должность?

— Вроде, — мирно соглашался Лейбович, — типа князя...

— Легко сказать — Бонапарт, — возражал Мищук, — а если я не похож?!

В ста метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею.

Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой.

Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.

Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек — сухое поле незадавшейся жизни...

— И что вы себе мыслите — делает прокурор? — говорил Адам.

— Прокурор так делает выводы, — откликнулся зека Лейбович.

Конвой дремал у забора. Так было каждый день.

Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу. Он летел в сторону аэропорта.

— Турбовинтовой МИ-6, — заметил Пупс, вставая. — Ё-ё! — лениво крикнул он.

Затем скрестил над головой руки. Затем растопырил их наподобие крыльев. Затем присел. И наконец повторил все это снова и снова.

— О-ё-ё! — крикнул Пупс.

И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый. И потомственный «скокарь» Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович. И кукольник Адам. И даже



фарцовщик Белуга. А этих людей трудно было чем-нибудь удивить...

Вертолет шел на посадку.

— Чудеса, — первым констатировал Адам.

— Чтоб я так жил! — воскликнул Лейбович.

— Зуб даю, — коротко поклялся Чалый.

— Сеанс, — одобрительно заметил Мурашка.

— Феноменально, — произнес Белуга, — итс вандерфул!

— Не положено, — забеспокоился конвоир, ефрейтор Дзавашвили.

— Зафлюгировал винт! — надсаживаясь, кричал Мищук. — Скинул обороты! О-ё-ё... (Непечатное, непечатное, непечатное...)

Куры разбежались. Ромашки пригнулись к земле. Вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони — самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мищук бросился к нему.

— До чего ты худой, — сказал Маркони.

Затем они час хлопали друг друга по животу.

— Как там Вадя? — спрашивал Мищук. — Как там Жора?

— Вадя киряет. Жора переучивается на «ТУ». Ему командировки опротивели.

— Ну а ты, старый пес?

— Женился, — трагически произнес Маркони, опустив голову.

— Я ее знаю?



— Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не много потерял...

— А помнишь вальдшнепную тягу на Ладогое?

— Конечно помню. А помнишь ту гулянку на Созьве, когда я утопил бортовое ружье?

— А мы напьемся, когда я вернусь? Через год, пять месяцев и шестнадцать дней?

— Ох и напьемся... Это будет посильнее, чем «Фауст» Гёте...

— Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги...

— Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком.

— Естественно, — согласился Мищук.

Помолчав, он добавил:

— Зря я тогда пристегнул этот шелк.

— Есть разные мнения, — последовал корректный ответ.

— Мне-то что, — сказал ефрейтор Дзавашвили, — режим не предусматривает...

— Ясно, — сказал Маркони, — узнаю восточное гостеприимство... Денег оставить?

— Деньги иметь не положено, — сказал Мищук.

— Ясно, — сказал Маркони, — значит, вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф, часы и зажигалку.

— Мерси, — ответил бывший пилот.

— Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине.

— Запрещено, — сказал Мищук, — у нас единая форма.

— У нас тоже, — сказал Маркони, — ясно... Ну, мне пора.

Он повернулся к Дзавашвили:

— Возьмите три рубля, ефрейтор. Каждому по способностям...

— Запрещено, — сказал конвоир, — мы на довольствии.

— Прощайте, — сунул ему руку Маркони.

И взошел по трапу.

Мищук улыбался.

— Мы еще полетим, — крикнул он, — мы еще завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты!

— В элементе, — подтвердил Мурашка.

— Зуб даю, — однообразно высказался Чалый.

— Оковы тяжкие падут! — закричал фарцовщик Белуга.

— Жизнь продолжается, даже когда ее, в сущности, нет, — философски заметил Адам.

— Вы можете хохотать, — застенчиво произнес Лейбович, — но я скажу. Мне кажется, еще не все потеряно...

Вертолет поднялся над землей. Тень от него становилась все прозрачнее. И мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками.

Мищука освободили через три года, по звонку. Покрышев к этому времени умер. О его смерти писали газеты. В аэропорт Мищука не допустили. Помешала судимость.

Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык. Играл на мандолине, пил, старел и редко думал о будущем...

А Дима Маркони разбился под Углегорском. Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры...

*23 февраля 1982 года. Нью-Йорк*

*Спасибо за письмо от 18-го. Я рад, что вам как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько страниц. Напишите, какое они произведут впечатление.*

*Отвечаю на вопросы.*

*«Кукольник» по-лагерному — аферист. «Кукла» — афера.*

*«Скокарь» означает — грабитель. «Скок» — грабеж. Ну, кажется, все. Я в тот раз остановился на ужасах лагерной жизни. Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.*

*Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет.*

*Я хорошо помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице.*

*Когда меня избивали около Ропчинской лесобиржи, сознание действовало почти невозмутимо:*

*«Человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость масс... Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пломбы...»*

*Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик — голодные, униженные, измученные страхом.*

*Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений.*

*Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха.*

*Когда на моих глазах под Ропчей задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали.*

*Конечно, в этом есть значительная доля аморализма. Таково любое действие, в основе которого лежит защитная реакция.*

*Когда я замерзал, сознание регистрировало этот факт. Причем в художественной форме:*

*«Птицы замерзли на лету...»*

*Как я ни мучился, как ни проклинал эту жизнь, сознание функционировало безотказно.*

*Если мне предстояло жестокое испытание, сознание тихо радовалось. В его распоряжении оказывался новый материал.*

*Плоть и дух существовали отдельно. И чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух.*

*Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска — все становилось материалом неутомимого сознания.*